

ВЛАДИСЛАВ СОСНОВСКИЙ

ХИРУРГ



СИБИРСКИЙ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
РОМАН



Сибирский приключенческий роман

Владислав СОСНОВСКИЙ

Хирург

«ВЕЧЕ»

2021

Сосновский В. Г.

Хирург / В. Г. Сосновский — «ВЕЧЕ», 2021 — (Сибирский приключенческий роман)

ISBN 978-5-4484-8556-5

Роман «Хирург» – это открытие новой Колымы. Рассказ о ее трагическом прошлом и трудном настоящем. А также приглашение к знакомству с обитателями Дальнего Востока, их духовным миром, моральными принципами и кодексом чести истинно русского человека.

ISBN 978-5-4484-8556-5

© Сосновский В. Г., 2021

© ВЕЧЕ, 2021

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

33

Владислав Геннадиевич Сосновский

Хирург

Роман

*Посвящается моему Отцу,
который незримо участвовал в создании этого романа*

*В океане Он видит каплю,
В капле слышит дыхание океана.*

Бахаулла – пророк религии Бахаи

Осень сорвалась в один день. С предела своей обворожительной поры упала в омут сырого, серого тумана, мороси и дождя. И грустно стало наблюдать унылую любовь старухи слякоти к молодому и глупому снегу. Вчера еще Бухта жарко пылала от солнца, и глубокое небо широко обнимало океан до самого окоема. Чайки кричали радостно, как весной. Их бельканто слышно было по всей округе. Сопки кровенились брусникой, и кто не ленился, тащил домой, согнувшись пополам, полные рюкзаки и ведра сочной, спелой ягоды. А сегодня хрипло запели деревья, и в необъятно грязных лужах начала промокать обувь. Все. Как злая дворняга, вцепилась в живое тело мира ощеренная, косматая осень.

Ах, снег, снег!.. Метель-кручина. Словно во сне, только что стояла за спиной в золотом сарафане красавица осень, и нет ее. Пролетела, что сон. Сухая, солнечная, синяя. То ли море тонуло в небе, то ли небо в нем. Навага и корюшка брали ошалело. По рекам еще бродил кижуч. Люди запасали на зиму грибы, ягоды, рыбу.

Был бы дом. На камне. Не на песке.

У Хирурга – всю жизнь на песке. Да и домом ли можно назвать. Сплошная казенка: общага, камеры, подвалы, чердаки... Хотя был, конечно, и дом когда-то. И жена, и любовь, и почет, и слава. Но когда все это было? С кем? У кого? Будто и не у него вовсе. Не с ним, а в чьей-то чужой, посторонней жизни. Сто лет назад. Да и звали ее как, жену? Господи! Как же имя-то у нее?

Хирург потер слезящиеся глаза оборванным рукавом грязной морской шинели с чужого плеча.

Серая бухта, укрытая снежным крылом, летела вверх, будто его собственная огромная душа, а обладатель той души сидел, скрючившись под косым снегом на мокром валуне и силился разглядеть в памяти имя любимого некогда человека.

Как же?! Черт бы меня побрал! Оторвало имя, что лодку в бурю. Любовь-то угасла давно. Один пепел. Но хоть название пеплу.

Хирург забыл, когда в последний раз вспоминал о жене. А сегодня вот накатило, слез не прогнать, сопки не видно, лишь туманная пелена.

От напряжения он встал и пошел к морю, словно в нешумной волне его таился ответ на мучавший вопрос – тощая плоская фигура, как будто шинель сама поднялась и, волочась по песку, двинулась к воде.

Глухо и сонно вскрикивали чайки, пахло йодом, сыростью, снегом.

Сапоги – правый на размер больше – тут же промокли в запорошенных кучах водорослей. Хирург этого не почувствовал. Он шел за именем той, кому давным-давно, в другом мире и веке дарил цветы, чьи глаза целовал на Невском светлыми далекими ночами. Где она теперь? В какой галактике? Жива ли? Да ведь имя совсем простое. Про-сто-е... Хирург заскрипел

зубами и сжал костлявыми руками виски. В голове стоял непроходящий гуд. И вдруг в шелесте накатившей волны он ясно различил чей-то шепот: «Га-ли-на».

Хирург уже не помнил, когда чему-либо удивлялся, но сейчас был поражен явлением сочувствия природы.

Галина! Галчонок!..

Она и была похожа на галчонка. Черноволосая, черноокая, юркая и застенчивая одновременно. Тогда там, на другой планете, в другом измерении, он – ведущий хирург одной из ленинградских клиник, доцент кафедры мединститута Дмитрий Валов, врач, имя которого по уникальным операциям уже знали не только в Союзе, влюбился как мальчишка. И в кого? В свою же студентку – банальнее не придумаешь. Тогда ему было проще залатать чужое сердце, чем справиться со своим. Хотя нужно ли ущемлять радостную боль, окрыленность, счастливую грусть? Он и не пытался этого сделать: ни к чему.

Операции проходили одна удачнее другой. Ему везло. В то время казалось, она, Галина, подарила второе зрение. Он видел то, к чему были слепы другие, и потому действовал мгновенно, неожиданно и точно.

Но слава раздражала. Она была похожа на досадный грохот машин за окном.

Он работал день и ночь. И не уставал. Потому что был молод, талантлив, любил и был любим. И потому что это было *его дело*.

Клубился рой восторженных почитателей. По углам шептались завистники. Все шло, как и должно на пути звезды. Но кратка жизнь гения на земле, словно кто-то усердно заботится о ее недолговечности.

Тот злополучный день вошел в память, как копьё.

Была весна пятьдесят первого. Ленинград трудно оживал после клинической блокадной смерти. Но оживал. Солнце, слепя глаза, купалось в масляных лужах. Торопливо летела громкая капель, словно таяла, не выдерживая тепла, глубокая небесная синь. Трещали воробьи, громыхали трамваи, набухали почки. Явились женские ноги, замелькали шляпки. Была весна...

Дмитрий только что закончил последнюю операцию, когда привезли *его*. Валов сказал: «Нет. Я не могу. Сегодня годовщина свадьбы. Есть другие прекрасные хирурги. Кроме того (он посмотрел на часы, они показывали половину седьмого), я с восьми утра за операционным столом». Те, кто привезли *его*, были в серых макинтошах. Они сказали: «Ты, вероятно, не понял, *кого* мы к тебе доставили. Это очень ответственный работник Apparata».

Он сказал: «Я понял, но меня ждут. Есть другие. Замечательные врачи. Ничуть не хуже».

Дмитрий был искренен. Он любил жену и хотел этот день посвятить только ей.

Те, в макинтошах, и особенно один в яловых сапогах с тяжелым шрамом на щеке, стали кричать, обещая, что его, Дмитрия, могут вообще не дождаться, раз он так опрометчиво спешит. Что, видимо, он сумасшедший, если не понимает: кого они привезли. Неужели неясно: других врачей и специалистов у них пруд пруди. Но тут нужен именно он, Дмитрий Валов. Что до ответственного работника, то ему, Дмитрию, не мешало бы знать ближайшее окружение товарища Жданова.

Он сказал: «Ладно. Черт с вами, хотя на ранги мне наплевать. Для меня все равны. Я ни для кого не делаю исключений».

И те в макинтошах, а один в яловых сапогах с тяжелым шрамом на щеке, остались ждать в коридоре, мрачно пережевывая его слова. Тот, в яловых, согнувшись, облокотился правой рукой на правое колено и погрузил в ладонь квадратный подбородок. «Ну, мы ему мозги вправим, – сказал. – А, Федор?» И Федор, как человек, загнавший зайца в капкан, одобрительно хмыкнул: «Хирург! Лепило»¹. И бросил черную шляпу на соседний стул.

¹ Лепило – врач на тюремном жаргоне.

Фронтовой врач, постоянный ассистент Валова, ставший на войне совершенным старцем, хмуρο ворчал, завязывая ему халат:

– Ну, не хулиган ты, Митька? Подлинный дундук. Разве так можно с ними? Они ведь, энкавэдисты, церемониться не будут. Я их повидал, не приведи господи...

Дмитрий сказал:

– Ладно. Хоть ты, Петрович, не бубни. А то вообще брошу все к чертовой матери. Пусть оперирует Левицкий. Отличный хирург. Что они лезут, словно врачей других нет, мать их... Могу я отдохнуть хоть один вечер?

– На том свете отдохнешь, Митя, – нравоучительно пообещал военный лекарь. – А сейчас хватайся за дело. И собери все силы. Не дай бог, что случится. Аппаратчик одной ногой уже по облакам гуляет.

– Ерунда, – отмахнулся Дмитрий. – Я его вытащу. Ему жить еще лет тридцать, как минимум. С такой мордой не помирают.

Петрович вздохнул.

– Глупый ты дурак, Дмитрий Александрович, – определил коллегу боевой врач. – Обломают тебе рога вместе с башкой. Я тебе точно говорю.

Аппаратчика он действительно вытащил. Тот очнулся. Его сразу перевели в спецбольницу. На спецобслуживание. И вот, лежа на спец койке, ответственный работник выслушал повесть своих подчиненных, а особенно того, в яловых сапогах, о строптивом без всякой меры хирурге Дмитрии Валове.

– Ишь ты, падла какая, – не то удивился, не то обрадовался аппаратчик. – Тоже, гляди-ка, белая кость. Хирург. Правильно говорил о них товарищ Жданов. – Тут он замолчал, припоминая, что именно изрекал товарищ Жданов по поводу левой интеллигенции, этих «смердящих подонках, троцкистах и зиновьевцах». – Надо поучить. Зелен еще соваться. Гляди-ка... Лепило. Не таких гнули. Да, Вась? Поучить, конечно. Но... Не шибко: все же гибель он мне ликвидировал.

Год его «учили» в следственной тюрьме. После того как переломали ребра, расплющили в дверном проеме фаланги пальцев, он понял: они сотворили самое страшное – лишили его дела жизни, того, к чему он себя так долго готовил, о чем мечтал, ради чего существовал. Все стало безразличным. Он впал в какое-то долгое забытие без конца и края. Были еще допросы, однообразные, с жестоким битьем, пытки – с кем связан, что замышлял? Почему сразу не приступил к операции? Это предательство всего Советского Союза. Всего партактива. Ты, по нашему разумению, изменник. Сволочь, недостойная не только стоять у операционного стола, а вообще числиться гражданином Страны Советов.

Потом были пересылка, этап, лагерь под Магаданом. Холод, голод, смерть на расстоянии собственного дыхания, десять черных жутких лет.

Сменовластие прошло мимо судьбы Дмитрия Валова. Обдало, опалило ветром перемен, близкой свободы и улетело прочь.

Первое время Галина стучала, куда только было можно. Взывала, молила сообщить, как он и что с ним. Увы! Она билась в глухую стену. Ни проблеска, ни искры, ни тени надежды. Одно слово – враг народа.

В больнице ей тоже никто не мог или не хотел помочь. Кто отворачивался, кто опускал глаза, кто проходил мимо. В конце концов Галя поняла: ей осталась лишь горькая, тяжелая память. Она жила с маленьким сыном, тоже Димой – единственная весть, которую смогла передать в тюрьму. Сын и только сын стал смыслом ее существования. Теплым напоминанием о светлом и счастливом времени жизни.

Теперь Галина молилась за мужа, выпрашивая у Бога прощения и милости. Хотя за что прощения? Этот вопрос оставался без ответа.

А Хирург – иначе его ни в тюрьме, ни в лагере не называли – покорно взвалил на плечи крестообразную судьбу и нес ее, согнувшись, сквозь все тернии, выпавшие на его долю.

Двадцать лет лагерей прокатились по Хирургу, что горная лавина. Он вышел оглушенный, и сам не мог объяснить, почему не поехал сразу домой.

Лагерь сменились скитаниями, случайными работами в тайге и Магадане, снова тюрьмой за отсутствие прописки. Стало быть, за нарушение паспортного режима. А значит, за бродяжничество. И, стало быть... за старые грехи. «Но за какие грехи, мать бы вашу!» – вырывалось из самой души.

Ах, Магадан, Магадан!.. Обетованная столица горя. Сколько жизней зарыто в стылой земле Колымской трассы. Могли бы там лежать и его, Дмитрия, кости. Лишь чудом вынесла судьба. Уцелел. Значит, надо думать, кто-то охранял все эти страшные годы. Чья-то любовь миловала, берегла. Только вот для чего? Кто он теперь, Дмитрий Валов? Изгой, бродяга, лист на ветру, мусор человеческий. Без семьи, без дома, без работы. Смешно сказать – хирург. Да было ли это когда-нибудь? Одно название. Словом, бич бичом – так тут называли шатающийся без дела люд. Конечно, он мог бы пойти в больницу, мог бы хоть чем-то быть полезен, но мысль о невозможности из-за покалеченных рук оперировать, была, как осколок под сердцем, больной и невыносимой. В тюрьме и лагере он помогал страждущим и, кажется, не одного спас от гибели. Но то было другое. К тому же в больницу принимали специалистов постоянного места жительства. Такого у Дмитрия не имелось. Да и диплом... Где он теперь? Одним словом, в лучшем случае, знахарь. Ворожей. Лепило, как говорили в лагере.

Получить штамп о прописке можно было, лишь подрядившись на тяжелые строительные работы, для которых у Хирурга уже не хватало сил ни физических, ни душевных. С некоторых пор он признавал только сезонную работу в тайге. В небольших людских группах то ли геологов, искателей некоей подземной пользы, отождествляемой Хирургом с обнаружением добра, то ли с наемными косарями на покосах лесной травы, что тоже было благом свободного труда. Над душой не висели начальники, пусть отдаленно, но все же напоминавшие чем-то осточертевших лагерных службистов, отравленных мнимым над людьми превосходством. При всех пороках и грехах.

В тайге вокруг стояла вечность, целительная тишина и покой. Тут Хирург знал, что ему делать, как, и работал с радостным сердцем, понимая суровый бесконечный мир, будто собственную судьбу. Он наблюдал изо дня в день шапки ледников на вершинах синих сопков.

Видел, как учит охотиться малыша мать-медведица и как честно, в равной схватке добывает право вожака круторогий красавец олень. Все это свершалось по извечным законам. Но кто же тот мудрец-законодатель? Почему он забыл о людях: невинных, незащитных, обездоленных? За что расплачиваются они? За какой тяжкий грех? За чей?

Хирург давно осознал: эта расплата – есть Высшее Повеление. Он догадывался за что расплата, и видел, чувствовал мир людей как нечто глубоко несовершенное, уродливое, чуждое мудрости природы и потому постоянно скорбел за весь человеческий род.

Нет, не все сгорело в пепел в его душе от собственных и виденных страданий, и Хирург иногда плакал одной-единственной, имевшейся для утешения, слезой, посылая в неведомое пространство грустную надежду на пробуждение людского разума и духа.

В такие минуты, как малый огонь, затерянный в мировой чаше, Хирург, словно сжигал себя для всего человечества, как бы избавляя и очищая его от наносного, ненужного, заплесневелого, ржавого, и дерево добра вырастало из него, осыпая всю землю светоносными лепестками с цветущих веток.

Но Хирург не удерживал в себе мыслей, понимая, что мысли – это облака, которые уплывают и приплывают. Это гости, что приходят и уходят. Нельзя уйти вместе с ними, потому что

тогда можно стать их рабом. Можно в хороводе облаков потерять небо, которое и есть – чистый ум, который должен оставаться всегда чистым. Это Хирург знал точно.

Потом он снова трудился и наблюдал бурное течение времени, но снова, вспоминая людей, пользовался единственной полусухой слезой.

Так существовать было отрадно: ум и сердце, точно находились рядом, в голубом воздухе, и их можно было время от времени трогать, как милые, близкие по жизни предметы без чьего-либо постороннего вмешательства.

Но вот кончался летний сезон работ, и наступало унылое, долгое ожидание заработанных денег.

Сезонники сомнамбулическими теньями плавали в коридорах управлений. Сидели на корточках вдоль стен. Нещадно чадили табаком. Гасили окурки о кумачовые стенды с фотографиями передовиков. Спорили, ругались и проклинали все на свете: воловью работу, собачью жизнь. Начальников, бухгалтеров, министров, правителей и медведицу-Дуньку, которая, как утверждали старожилы, раньше работала у старателей просто забавой. Теперь же свободно гуляла по тайге, разоряя ежегодно то один, то другой стог косарей.

Многие сутки люди питались желтой слюной с прокуренных обвисших усов, продавали в поселке с себя вещи, чтобы согреть терпение спиртом и заглушить голод. В этом затяжном времяпрепровождении кое-кто терял равновесие, начинал производить дополнительный шум, ища соблюдения законности и элементарного уважения трудовых мозолей. Но то были в основном новички. Их, не получивших зарплаты, тут же загружали для экономии государственных средств в милицейские машины и отправляли, невзирая на доводы, в места более веселые. Благо, на Колыме тюремные службы до сих пор на особой высоте.

Наконец, недели через три-четыре измученный, отощавший, посеревший лицом народ приглашали к кассам.

Деньги были не то чтобы очень большие, но и не малые. В эту таежную страду Хирург и его бригада из двух, кроме бригадира, человек получила заработанное. Погода миловала – ни тебе ливней, ни засухи, словом, повезло. Был сначала в бригаде и четвертый – личность тихая, с виду почтенная.

Человек этот прибыл в тайгу в костюме, галстук, с портфелем, где у него хранилось аккуратно сложенное, несвежее белье, походная механическая бритва, затертое, перезатертое, так что и прочесть трудно, Евангелие. И детская наивная игрушка – резиновый заяц. Косарь этот, именем Василий, сойдя в тайгу с вертолета, молча просидел целый день на пне, облокотясь на свой драгоценный портфель, как бы размышляя, кто он есть такой на белом свете, а к вечеру отправился за выяснением или от любопытства в дебри. С тех пор его никто не видел, хотя и посылали на поиски вертолетную команду. И вот сейчас Василий снова обнаружился у касс. Был он потрепан, худ, но в том же костюме и галстук и так же сидел в углу на какой-то ветхой коробке, облокотясь на свой дерматиновый портфель. Все так же смотрел он с некоторым удивлением в пространство. Словно спрашивал себя и окружающий мир: что из этой жизни может выйти.

Оказалось, Василий – странник. К кассам его привел попутный интерес. Получать же ему было нечего. Хирург вытащил наугад из кармана денежную бумажку и подарил страннику, так как считал, что деньги не могут быть препятствием в части проявления добра. И прочие сезонники по примеру бригадира натолкали в портфель Василию кто сколько – пусть человек живет, путешествует и ищет ответы на тайные вопросы природы.

С первого же дня из-за своего повышенного интереса к философии, а точнее, к теософии Василий немедленно приобрел кличку Гегель, и теперь люди, подарившие ему материальные средства, любопытствовали:

– Как же ты, Гегель, из тайги выскребся? Да еще в ночь тогда канул.

– Тайга – обитель, – откровенно мудрил Василий. – А в обители и во мраке свет. Там живет Бог.

– Хм... О-би-тель, – напевно повторял вопрошатель, будто слышал это слово впервые.

– А вроде позвал кто. Голос был.

– Хм... Голос, – усмехался сезонник и скреб коричневым кургузым пальцем под фуражкой. – То у тебя, видать, глютики были, а не голос. Ошивался четыре месяца где?

– Сначала песцов харчевал одному буржую. Потом в Москву летал.

– В Москву-у? На кой она тебе, Гегель, Москва?

– Спросить.

– Чего спросить?

– Когда правда будет.

– Ну и спросил?

Тут Василий сиял.

– А то... Спросил. А как же.

– Ну?

– Сказали – скоро.

– Кто сказал?

– Один военный в Кремле, – не выдал Василий.

– А тебе-то правда зачем?

Василий хмурился.

– Без правды род гибнет.

– Чего? Какой такой род?

– Какой, какой, – недовольно бурчал Василий. – Российский.

– Российский, – задумчиво произносил работник тайги. – Это что тебе, сыр?

– Сам ты сыр, – обижался Василий. – А насчет правды я еще в ООН написал. Пересуде Куэльеру. Лично.

– Да, Гегель, – уважали Василия рабочие. – Видать, ты натуральный Гегель. Прописан-то где?

– Да где жа. На Колыме.

– И жена есть?

– Есть. Куда ей деться.

– Как же она тебя терпит? Ведь ты, Гегель, цыган.

– Она кроткая, – улыбался Василий. – Божественная женщина.

Сезонники полюбили Василия за то, что он дурачок, и пригласили отпраздновать с ними победу над сеном.

Праздновать решили в проверенном, непрохожем месте, в одинокой избе на берегу океана у Богдана-полицая. В свое время Богдана не расстреляли только за то, что он не зверствовал и даже умудрялся передавать кое-какие нужные сведения для подпольщиков. Однако в некоторых операциях не выдержал, поучаствовал поперек партизан. Потому отправился на вечное поселение в колымскую, ледяную глушь. Тут Богдан погоревал о проклятой войне и о своем, таком постыдном в ней участии. Но обжился. Зимой охотничал, летом подавался в рыбсовхоз. Была у него тут и жена, адыгейка, баба таежная, умелая, работающая. Ан вот взяла и ни с того ни с сего без всякого предупреждения померла. Так стал Богдан на старости лет бобылем. К нему-то по давней дружбе и направлял Хирург свой праздничный отряд.

В пути выяснилось, что пришлый Василий хромой на обе ноги. За свое всеядное влечение к правде и религии он, по его словам, в молодости отбывал кое-какой срок, нарвавшись на истинных марксистов. В лагере на философа обрушилось дерево, но благодаря счастливой звезде Василия уклонилось чуть в сторону и пало только ему на ноги.

Хирург сразу определил дефект человека и взял с его плеч тяжелый рюкзак с провиантом и вином, позволив Василию нести менее громоздкие вещи, плюс портфель с резиновым зайцем. Заяц, как обнаружилось, тоже являлся предметом идеализма, можно сказать, мистики, олицетворяя покорность и кротость. Но мистику Хирург почитал с давних пор за тайную энергию добра. Так как сам, не имея инструментов, лечил лагерных больных одним желанием сердца, что целебным теплом стекало на страждущих с его изуродованных рук. Такова была практика его лагерной деятельности.

Надо сказать, что в ленинградской предвариловке Хирургу чуть было не вышибли мозги, отчего потом многое забылось. Но он, идя окольным путем по новой дороге, добрал до того, что есть на свете некая тайная музыка, которая сверху заряжает через позвоночную антенну одного человека, от того поет другому, от него третьему и дальше. И каждый пользуется этим неслышим хором как скрытым языком. Есть и тот, последний, кто тихо посылает мелодию обратно вверх, чтобы налить ее новой силой. Вот тогда, понимал Хирург, все происходит заново. И всякий человек, и все люди, согретые тайной музыкой, сплетены с ней, как цветы в венке. Жаль только, не все слышат ее, способную покоить и врачевать...

Вот этой ниспосланной рапсодией и действовал Хирург, что боевым скальпелем.

Из совхоза трое косарей и примкнувший Василий ехали на автобусе, который, как там было и положено, опоздал минут на сорок. За это время сезонники успели хорошо пообедать, утешив наконец нервы и заполнив вакуум в желудке. В автобусе у них образовался один общий, братский ум и коллективная память, которой все трое и примкнувший Василий стали шумно пользоваться как орудием дружбы и симпатии. Остальной народ в машине был добровольный, старательский. Закатившийся в большинстве своем из теплой Украины и потому – горячий, громкий и беседолюбивый. Все они были кто с мешком, кто с ящиком, где хранились разные слесарные инструменты – то ли запчасти, то ли просто молотки-кувалды.

За окном начиналась метель. Белой пылью играла по обочинам поземка. Тяжелые сопки, обросшие редеющей к вершинам древесной шерстью, сидели, съезжившись, в снегу. А в автобусе было жарко, накурено и весело. Пахло бензином, овчиной, железом.

– Павло!

– Шо?

– А ну, отгадай загадку, – хитро приглашал своего товарища один щирый магаданец.

– Давай, – согласился тот.

– От-таке маленьке, пухнасте, хвост, четыре ноги, два уха и гавкае... Шо оно такое? Га?

– Тю... – удивленно выразился испытуемый, – Та собака ж.

– Та ты, наверно, зная, паразит, – изумился затейник.

Этот человек, добротный, мордатый, в меховом полушубке, громко смеялся от своей шутки густым, раскатистым смехом, сдвинув для прохлады волчью шапку на затылок. И остальные его друзья солидарно радовались тому, что можно скрыть за чушью глубинную боль жизни.

Хирург поставил этому явлению диагноз всепоощряемой глупости, явлению, приобретенному в результате государственного уродства.

Нет, он не винил людей за поверхностный ум. Не было никакой тайны в том, что не от хорошей жизни сорвались они с родных вишневых, тополиных мест Украины и бросились в замороженную Колыму. Они хотели жить сегодня, а не в призрачном завтра. Жить, работать, растить детей и не знать ни в чем ущерба. Они и работали, любя свою землю, с утра до ночи, а получали гроши, на которые и купить-то было нечего. Так и перебивались, томясь и мучаясь от тоски окружающего. Одни начинали любить вино. Другие, уже не поднимая головы, тянули по унылому кругу свою лямку. Третьи, плюнув и перекрестясь на все четыре стороны, подались на Север. Эти работяги не ведали толком ни собственной истории, ни любопытных наук, чего и добивался социализм. Только хваткий ум, выгода, да еще доля рискованной удачи держали их в

далекой колымской земле. Многие привыкали, прожив на Севере с десяток лет, и уже не могли вернуться в родные края.

Все это Хирург знал и сочувствовал неизвестным старателям теплым сердцем: «Бедолаги, прости, Господи. А что сделаешь. Жизнь такая. Дурнем легче. Дергай ручки бульдозера или крути баранку, а остальное – катись оно к такой-то матери».

Правда, в своем деле приисковые рабочие были мастера высокого класса. Профи. И работали, как черти. В любую погоду. А что не велось разговоров о душе, всеобщем благе – так кто в этом виноват?

В этот сенокосный сезон Хирург набрал в бригаду таких же бичей, каким был и сам. Внешне все они здорово походили на бродячих псов. И запах имели соответствующий.

Один из собригадников в прошлом значился боцманом рыболовного судна, потому и кличку получил соразмерную – Боцман. Его списали на берег за кулачную расправу, которую тот учинил над замполитом корабля, застав политического командира в своей постели с собственной женой. Тогда судно стояло на ремонте. Боцман заступил на вахту, но сердце ныло, что-то чувствовало проклятое сердце. Да и слухи шелестели по кораблю. Он попросил товарища подменить его на пару часов.

В тот вечер замполит успел удрать от остолбеневшего корабеля в окно – благо, был первый этаж. Жена, зная недюжинную силу мужа, в страхе выскочила следом. Боцман же – здоровенный детина с кулаками, похожими на амбарные замки, – всю ночь просидел сиднем, тупо повторяя одну лишь фразу: «За что?» Он любил жену, хотел от нее детей, а вышло вон как.

На следующий день замполит сам вызвал боцмана к себе в каюту, чтобы, видимо, уладить как-нибудь конфликт по-хорошему. Боцман был человеком добрым, и он было уже принял извинения командира, простил его: бес попутал парня. Но замполит, обрадовавшись, что дело так легко замялось, перестарался, посоветовав боцману в окончание разговора выгнать жену к чертовой матери, раз она такая шлюха. Вот этого боцман стерпеть уже не мог. Он выволок замполита на палубу и тут, на глазах у многих моряков, одним ударом совершил корабельному политработнику серьезное увечье головы. Боцмана списали, судили, и он вычеркнул из жизни пять муторных, тяжелых лет. На флот он больше не вернулся. Жена канула в пространство, наскоро продав причитающуюся ей половину дома, который боцман купил, когда они поженились. Продала каким-то свинарям. Те тут же развели на всем подворье чавкающее мясо, захватив под жилище для свиней боцманский сарай.

Вернувшись из заключения, боцман махнул на них рукой – делайте, что хотите: дома почти не бывал.

Пока он сидел в тюрьме, у него умерли мать с отцом, жившие под Калугой, и Боцман стал подобен ветру: один на весь белый свет, лети на все четыре стороны. Но из всех четырех сторон, куда можно было кинуть взгляд, Боцману милее была та, что располагалась в направлении океана. Там, между пучиной и небом, обжилося его сердце, а в перекатах волн и видениях дальних берегов пребывала душа.

Сейчас Боцман потерял из слуха веселых старателей. Он просто не мог их слушать: между озябших сопок вдруг показалась бухта с живой серой водой Охотского моря, а дальше, за зонтом, Боцман знал это памятью, проживал огромный влажный организм могучего Океана, который испытывал моряков и кормил людей. Уж кому-кому, а Боцману была известна сила и строгий характер Океана, и за то старый моряк уважал и любил неоглядную гладь беспредельного моря, которое считал своей второй родиной. Ни одного дня оно не бывало одинаковым, и каждые сутки дышало по-разному, создавая очередную тайну природы. И эта постоянная новизна всегда поражала Боцмана, заставляя верить, что Океан – огромное живое существо с тяжелым и грозным нутром.

Иногда Боцману снилось, будто и он родился в океане, только в другом, но столь же мощном Океане под Калугой. Там он питался душистым ветром лугов, леса, пением птиц,

криком петухов и сочувствием всему живому. Но зачем он покинул ту первую родину, одному Богу было известно.

– Эх, ма... – вздохнул Боцман вслух. – Какие ветры в тебя дуют, мать ты моя, Россия? – посочувствовал он всей окружающей земле.

– Какие надо, такие и дуют, – бесшабашно откликнулся нечаянный старатель. – Что у тебя, дядя, мыло во рту? Сидишь, как птица. Россию вспомнил. Россию вынесет. Не бойсь. Мне вон на той неделе жена письмо спустила. У них в детском саде, где она работает и сынок при ней, наводнение произошло. Представляешь ты, у них там, паразитов, ночью труба лопнула. Всех и залило к чертям в один час. Дети мокрые, а считай, зима на носу. Ну, слов нет. Поубивал бы к хренам тех слесарей. Представляешь ты, ну как с ними бороться? Зла не хватает. Женка пишет, Андрюха, сынок, воспаление грудей схватил. Ты представляешь, мать их...

– Они же, холеры, ремонт по десять лет не совершают, болт им в спину. Вот оно и... А как же, – посочувствовал еще один золотоискатель. – Не только труба, потолок рухнет.

– Ото точно, – подтвердил мордатый. – Сидят в конторах, как умные Маши. Бумажки пишут, разговоры делают, а люди страдают. Ух, и ненавижу эту шваль. Покрутишься с ними – поневоле на Север утечешь.

– А ты где проживаешь? – поинтересовался у пострадавшего Василий.

– Какая разница, – почему-то обозлился на Василия золотодобытчик. – Везде одно и то же, – политически обобщил он. – Кругом одна труха. А ты – Россия...

– Дура ты подкильная, – беззлобно осерчал Боцман. – Вот это тебе и есть натуральная Россия, когда всем на все стало наплевать. На людей, на лес, на море, на все. За что боролись, на то и... Между прочим, на материке дома на тротуары валяются, террористы по стране гуляют, как дома. А ты тут в песке золотом роешься, все рубли хочешь сгрести.

– А ты-то что же не двигаешь в свою Россию? – совсем перестал веселиться старатель.

– Во-первых, не в свою, а в нашу, – резонно заметил Боцман. – А во-вторых, мне нельзя отсюда сдвигаться. Я тут скоро помирать начну.

– Чего тебе помирать? – вдруг включился Василий. – Вон ты мощный какой. Служить надо, – как-то официально менторски определил он.

Боцман недоуменно посмотрел на него и почему-то вспомнил: осень, лиловый прыщ на щеке молоденького караульного, зеленый тюремный забор и – свобода...

Выйдя на волю, Боцман организовал своей жизни такой порядок. С утра обычно работал либо в порту, либо на овощебазе, либо в каком другом месте, где государство как раз сильно нуждалось в таких оглушенных жизнью шаромыгах, платя им за тяжелый, в грязи и вони, труд гроши. Там Боцман, благодаря медвежьей силе, катал огромные бочки, таскал мешки, швырял ящики, сгребал зловонный мусор отходов, чтобы заработать на нехитрый ужин. Вечерами, после работы, он часто отправлялся на пустынный берег и начинал, глядя в океанский простор, долгую, единственно желанную трапезу забвения и грезы.

Имея в кармане волчий билет, Боцман посетил однажды отдел кадров пароходства. Его встретил какой-то новый, незнакомый человек с гранитным, неподвижным лицом. Изучив документы Боцмана, начкадров поднял на него холодные, враждебные глаза.

– Ну и кем бы ты хотел? – спросил он, сверля старого моряка металлическим взглядом со своего гранитного лица.

– Боцманом, – сказал Боцман, уже понимая, что ему тут ничего не светит.

– Может, сразу капитаном? – поинтересовался распорядитель флотского состава.

Боцман устало посмотрел на специалиста по кадрам, чем-то сильно напоминавшего ему начальника тюрьмы, и, отняв у него свои документы, не то риторически, не то обобщенно спросил:

– Сколько же вас, м...ков, на свете? А? Мама родная!

С тех пор он уверовал: будущее для него закрыто на замок. «Все. Баста, – сказал себе тогда Боцман, – отрезано и забыто».

Но то, что решил он забыть, как ни старался, забвению не давалось, ныло и болело. Трудно было смириться с тем, что, видимо, не придется уж больше пошататься по скользкой, уходящей из-под ног палубе среди воющей штормовой непрогляди. Не случится схлестнуться с ней, а, победив, ощутить себя заново рожденным. Конечно, остались друзья, морские волки, которые ради Боцмана прижали бы любого, кто помешал бы ему снова жить по-людски, но он был не из просящих о помощи. После визита в отдел кадров у Боцмана появилось ощущение, что он вообще весь заляпан дерьмом. Как мог он, гордый, свободный человек, войдя в кабинет этого каменного истукана, содрать с головы шапку и униженно попросить разрешения пройти к столу? Шапка – бог с ней. Но остальное – тон разговора, задушевный голос, переминание с ноги на ногу у стола... Как, когда его так переломили? Боцман презирал и ненавидел себя за это. Он ненавидел тюрьму, весь ее сатанински выхолощенный порядок и уклад, после которого люди выходят либо калеками, униженными, заглушенными, либо – уродами, способными на равнодушное убийство и насилие. Себя Боцман втайне считал душевным калекой и возврата к здоровым не видел. А кто мог определить степень его инвалидности и оплатить ее? Никто.

Поэтому, уединившись на берегу океана, он раскладывал на камне небогатый свой ужин и устремлялся сердцем туда, где крошечными игрушками то появлялись, то исчезали корабли. Под крик чаек и шум волн этот вид грел его душу. Боцман незаметно уплывал в другой, настоящий мир любви, воспоминаний, где все было мило, все имело значение и высокий смысл. Хоть обозначалось на языке Колымы самыми простыми и грубыми словами.

Была, правда, на берегу одна женщина – Настя, у которой Боцман иногда покупал водку, так как в последнее время с этим делом стало совсем туго. Что поделаешь – указ Горбачева. Правительство поменялось. Новое – решило быть трезвым и прекратить выпивки, желая личным примером показать народу, как правильно существовать. Народ же оставался разного отношения к сложившейся жизни. Иные пока не желали становиться как правительство в силу многих причин. Однако раз «верха» осенила здоровая идея, унесшая жизнь дородных, долголетних виноградников, то опустели винные магазины, отчего неожиданно повсюду возникли спекулянты, не боявшиеся никого и ничего. Спиртное поднялось на уровень основного дефицита.

Настя работала в ресторане, а потому проблем с водкой для нее не существовало. Боцмана она знала. Когда-то он был лучшим другом ее мужа, инспектора рыбоохраны, убитого в тайге три года назад неизвестно кем. Поэтому для Боцмана в любое время дня и ночи была припасена пара бутылок.

Сразу после работы Боцман, переодевшись в оставшуюся от старых времен приличную одежду, частенько отпрашивался к Насте, получал спиртное по ресторанной цене – больше она никогда с него не брала, хотя откровенно приторговывала, – и дальше уже следовал на берег моря.

Однажды Настя пригласила Боцмана по старой памяти в гости, устроив что-то вроде вечеринки на двоих. Она жила одна в двухкомнатной квартире мужа, от коего сохранились лишь охотничье ружье, висевшее на гвозде в спальне, – теперь это была комната сына, – несколько рубашек из хорошего шелка, свадебный костюм. Его Настя иногда нюхала в минуты печали и тоски, не пытаясь сдерживать поминальные слезы. Рядом с задумчивым, хрипло поющим, когда его открывали, шифоньером с ее вещами, вещами мужа и сына, которого Настя недавно проводила в армию, висела семейная фотография в рост. Виктор, черноволосый, остроскулый и строгий, как ворон, Настя, совсем молоденькая в светлом платье, счастливо улыбающаяся, с тугой косой на груди и трехлетний сын Алешка, коротко стриженный, курносый, с игрушечным автоматом и сбитыми коленками.

Насытившись запахом мужа, наплакавшись и настрадавшись в теплой глубине памяти, Настя затем ритуально долго простаивала возле портретного слитка прошедшей жизни, уже спокойно вспоминая, что Алешка в тот день был простужен, соплив, что потом вернулись из фотоателье домой, уложили сына спать, а сами сели праздновать третью годовщину свадьбы. Выпили по рюмке коньяку и вдруг, не сговариваясь, лишь натолкнувшись друг на друга жадными глазами, сбросили с себя одежду прямо на пол и кинулись, как сумасшедшие, в прохладный постельный омут, в сладкий хмель любви, единственной и теперь несбыточной. Припомнив все до мельчайших подробностей, от рваного шрама на бедре Виктора – свидетельство одной из схваток с лесными бандитами, колючего подбородка, крепких мышц и деревянных ладоней, Настя обычно вздыхала и трогала маленькую трещину на стекле в правом верхнем углу портрета.

Таковыми были у нее моменты запредельного общения с любимым некогда человеком. Домой к себе Настя никого не водила. Боцман был первым, кого решила она пригласить.

Настя долго, с удовольствием стояла под душем, трогала полные, крепкие груди и радовалась, что они у нее не провисшие, как у напарницы Натальи, таскавшей по всему Магадану неизвестно где и с кем.

Настя насухо вытерлась, повязала густые длинные волосы и подошла к зеркалу. Посвежее лицо было молодо и румяно. Глянцево блестел атласный лоб и, как свежая черника, тихо горели глаза. Яблочно налитые груди ее вершились упругими бледно-коричневыми сосками – их так любил целовать Виктор. Голубовато-мраморный живот не имел складок и стекал книзу в плавные округлости бедер. Настя подумала, что в свои тридцать восемь она еще хороша – бог не обидел, – что она еще может любить и быть любимой и что Петр, старый друг Виктора, которого она сейчас ждала, будет ее вторым мужем, а это красивое тело против зеркала станет принадлежать ему. Сегодня же. В этом Настя не сомневалась. Она помнила, как впервые в их доме появился Петр. Его рук, его мягкого баса, всего его было так много, что казалось, комната состоит из одного Петра. Неуклюжий, неловкий, он сразу свалил дорогую вазу и потом не знал, куда себя деть, но добрее глаз и улыбки Настя не видела никогда ни у кого, даже у мужа. Она была спокойна и уверена в том, что даст счастье этому горемычному человеку.

Настя сняла с головы полотенце и стала расчесываться, как вдруг глаза ее словно обожгли два кричаще ярких седых волоса. Остро, пронзительно засквозило на сердце и, наспех выдернув седину, Настя какое-то время смотрела на две легкие серебряные нити, впервые так близко, так явно шептавшие ей о том, что не столь непогрешима и долговечна женская краса. Тем сильнее захотелось, чтобы скорее пришел Петр, но до его прихода оставался еще час.

Настя набросила густо-красный махровый халат, сделавший ее похожей на тропический цветок, и вышла из ванной. Цветок этот проплыл по комнате и застыл у балконной двери. За окном стояла густая морось. Растирая крем на руках, Настя смотрела в сторону, через балкон, вдаль улицы. По ней темными, мутными пятнами, как моллюски в аквариуме, нахохлившись, торопились по своим делам прохожие. И глядя на них, она, истосковавшись за долгое время одиночества, с нежностью представила, как придет Петр, промокший, озябший мужчина, пахнущий морем и табаком. Настя поможет ему снять сырую одежду и проводит в тепло, в уют.

А Боцман таскал в этот промозглый день мешки с луком на овощной базе, пропитанной тошнотворно-сладким запахом гнили, и все соображал, с чего это Настя решила позвать его к себе на вечер – вроде бы и праздника никакого... Она так и сказала: «Приходи, проведем вечерок. Поужинаем». Сказала и прочно вогнала в Боцмана тревогу. Внутри у него стало так неуютно, словно он замарался какой-то ложью.

Боцман давно отвык от женщин, общения с ними, отвык от ласк, поцелуев, потаенных слов. Настя же напомнила ему даже не самим приглашением в гости, а каким-то едва уловимым наклоном головы, всплеском небрежно откинутых волос, особым теплом голоса, что

существует некая, уже забытая Боцманом магнитная сила, имя которой Женщина. И вот этой неожиданной, позабытой данности женщины Боцман откровенно испугался.

И после работы в тяжелом предчувствии чего-то недоброго Боцман поплелся к Насте, орошая всю улицу запахом лука и табака. Он не желал никак и ничем нарушить святость памяти друга и уж совсем не желал встреч с его (не приведи господи) оскорбленной им, Боцманом, душой. Этого он не допускал даже в мыслях, хотя когда-то – вдруг всплыло в памяти – Настя ему очень нравилась.

Боцман нес в подарок два одинаково важных в хозяйстве предмета – полмешка отборнейшего лука и апельсин, подаренный ему начальницей смены за то, что Боцман без подъемного крана поставил на место завалившийся контейнер.

Настя была в восторге, словно видела и лук, и апельсин впервые. Боцман от ее радости позабыл немного свои тревоги и потеплел. Но тут оказалось, что придется снимать сапоги, и его пробил холодный пот. Боцман уже два дня спал в своей хибаре, не разуваясь.

Выручила Настя. Она повелительно затолкала Боцмана в ванную, наказав хорошенько прогреться в горячей воде. Боцман, куда деваться, разделся, отлепил от ног портянки и залез в ванну, которая была для него, что детский горшок. Кое-как устроившись, он открыл душ, намылился и ощутил под током теплой воды блаженство, какое испытывал когда-то после вахты на корабле.

Неожиданно вошла Настя, принесла, как старая жена, свежее белье. Деловито и привычно взглянула на Боцмана, словно это был не голый Боцман, а какой-нибудь привычный по жизни дубовый шкаф.

Боцман сразу сник: ему стало ясно, он влип. Какое-то время Боцман тупо наблюдал утекающую, будто собственную жизнь, воду. Затем встал, вытерся и, не взглянув на чистое белье, намотал грязные портянки, оделся и вышел из ванной.

Настя встретила его в дорогом платье и золоте. Стол дразнил деликатесами. Была Настя красивая и жалкая. Она взглянула на Боцмана и с холодком в сердце догадалась: ни радости, ни счастья не будет. Боцман тоже провалился в вязкий сугроб тоски.

Они обреченно сели за стол, вспомнили Виктора, бывшего мужа Насти, и Боцман, обойдя приличия, вылил в себя фужер коньяка. Помолчали. Говорить Боцману было не о чем: не о тюрьме же рассказывать. О чем говорить? И так на душе хмарь одна.

– Я пошел, – вдруг сказал он, поднимаясь. – Спасибо тебе, сестра, – неожиданно вырвалось откуда-то изнутри. – Одна ты у меня осталась, и порушить нашу дружбу я не могу. Не имею права.

– Присядь, – жестко приказала Настя, не глядя на него. – Куда ты пойдешь? Причаливай, моряк, ко мне. Жизнь – дрянь. Счастья нет. Все лезут с грязными лапами. Тошно. Витя был хороший. За ним я цвела. Но нет его. У судьбы свои расчеты. Ты, Петя, тоже хороший. Я знаю. Останься. Я еще тебе детей нарожу. Какие наши годы? Тебе сорок, да мне тридцать восемь. Жизнь уходит, Петя. Живи у меня.

– Не могу, – сознался Боцман. – Витя был мне как брат.

– Витю не вернешь! – закричала Настя. – Как ты не можешь понять? Он там, а мы здесь. Нам жить полжизни. Ты здоровый, сильный мужик, я еще молодая, крепкая баба. Оставайся, Петя. Работу тебе приличную найдем – меня все знают. Ведь пропадешь, умрешь от водки, а горю не поможешь.

– Витя там, – повторил раздумчиво Боцман. – Но мы-то здесь. Как же будем потом в глаза ему смотреть? Что же я, тварь какая-нибудь, что ли? Погань последняя, а не человек? Совесть-то у меня есть, наверное.

– Какие глаза, – безнадежно махнула рукой Настя. – Что ты плетешь?

– Не обижайся, сестра, – нахмурился Петр. – Все равно у нас с тобой ничего не выйдет: я в тюрьме все себе отморозил. Якорь заржавел совсем. Женщина как таковая меня больше не интересует.

– Якорь – ерунда, – грустно улыбнулась Настя. – Якорь твой я бы враз починила. Работал бы, как часы. У меня бабка – цыганка была. Секреты помню. А вот совесть... Тут твоя, правда. Совесть не купишь, не продашь. Раз Господь одарил – это навек.

Ах, судьба... Вот и просиживал Боцман на берегу океана, вспоминая всю свою переломленную пополам жизнь. Порой ему так явственно виделись и бушующее море, и корабль, на котором он отходил более тринадцати лет, и зависшая, надутая рыбным серебром, сеть, что Боцман вскакивал и кричал в неведомое пространство, словно был на палубе своего судна:

– Майнай трал! Осторожно, мать вашу! Не раскачивай, зелень подкильная! Держи! Держи, в бога душу!

При этом ветер распахивал полы его куртки, развеивал уже отросшую, хорошо тронутую сединой бороду, делая Боцмана похожим на зрителя всего океана.

Вот за этим вдохновенным занятием и застал однажды Боцмана Хирург.

Сам он брел берегом моря, чтобы слышать крики чаек, внимать запаху приближавшейся весны и глядеть поверх ледяного поля залива в синюю вечернюю даль, словно она могла повесть ему о чем-то сокровенном и осуществимом.

С утра Хирург трудился – собирал пустые бутылки, потом поел в забегаловке харчей – тарелку супа и порцию жидкой порошковой картошки с куском резиновой трески, и теперь от происходящего пищеварения душа у него работала хорошо и нежно. Кроме того, в карманах шинели остались еще на ночь краюха хлеба и банка кильки в сладком томате.

Из города он поспешил убраться, так как недремлющие милицейские машины сновали туда-сюда и в любой момент могли определить его как зловредного бродягу, несмотря на солидную, до пяток, шинель, подаренную как-то Хирургу одним бесшабашным залетным моряком.

Заезд в милицию грозил гражданину Дмитрию Александровичу Валову серьезными судебными осложнениями. Во-первых, за пренебрежение к существующему в Магадане положению об обязательности прописки в пограничной зоне. Во-вторых, за отсутствие места работы.

Хирург на эту зиму «прописал» себя в канализационный, тепловой люк под энергостанцией. Там, правда, не было необходимых удобств – света и прочего, зато имелись горячие трубы, возле которых можно было на одолженных у сторожа фуфайках спокойно ночевать, не боясь, что тебя выскребут милицейские работники, а с ними разговор, конечно, короткий. Это Хирург знал хорошо и потому старался не попадаться им на глаза.

– За что судим? – задавался единообразный вопрос.

Но разве объяснишь, за что.

На ночь в гремящих, жестяных от мороза куртках влезала в канализацию еще пара мытарей с серыми морщинистыми лицами. Это были тихие, ночующие люди с черными, словно обугленными ногтями. Они спали прямо на трубах, накалявшихся к ночи, как утюги. Тогда мытари сползали на цементный пол и спали сидя на корточках.

Хирург, забывая о себе, смотрел на них и удивлялся: кому до этого народа есть дело? Кому? А ведь люди же!..

Питался Хирург редко. Порой ему хватало булки хлеба на неделю. Он клал ее вместо подушки под голову и спал, уверяя себя, что пища войдет в него через прикосновение и запах.

Как ядовитая змея, постоянно грозящая опасностью, проползла зима. И уже запахло весной, а с ней – не такой уж далекой свободой.

В конце весны бичи выползали из нор. Теперь их никто не трогал. Везде нужны были сезонные рабочие – в геологических партиях, в рыболовных товариществах, на таежном сенокосе, да мало ли где.

В это время толпы грязных, оборванных людей двигались колоннами к дверям разных контор и управлений. Им не хватало только знамен.

Хирург предпочитал сенокос. Он как-то приспособился хватать своими культиками косу и орудовал ею не хуже, а то и лучше других. Так он трудился уже несколько лет, и даже вертолетчики, пролетая над таежными участками покосов, привычно говорили: «Подходим к Хирургу».

Сам же Хирург с нетерпением ждал этого времени, и все чаще уходил к морю посмотреть на Восток, скоро ли оно явится оттуда, время сезонного труда. Берег, как правило, был пустынным, лишь рыбаки, похожие издали на муравьев, носились ватагами по льду за косяками наваги и корюшки от лунки к лунке, наматывая с ладони на локоть длинные лески.

И вдруг – фигура на прибрежном валуне, командующая неизвестно чем.

– Аврал! На камбузе пожар! Все наверх, мать вашу! – извергал Боцман не своим голосом, воображая, видимо, какую-то роковую ситуацию.

Хирург присел позади корабела, восхищенный поэзией морской работы. Но «пожар» под напором смотрящего моря был погашен, и командующий далекими матросами, утерев со лба пот рукавом бушлата, сполз с капитанского мостика. Обнаружив неожиданного человека в морской шинели, Боцман облизал пересохшие губы, поскольку уже вдоволь наорался после того, как спустил в трюм своего организма полкило водки, сплюнул от остолбенения и, наконец, пришел в себя.

– Братишка! – заревел он с новой силой, схватил Хирурга, что куклу, и стал, дыша спиртом, целовать прямо в губы.

Ноги у Хирурга висели над землей, а Боцман прижал неведомого человека к себе и все целовал, целовал его, как родного сына, исключительно, конечно, из-за морской шинели. Наконец он поставил Хирурга на каменистую почву и, улыбаясь во все свое бородатое лицо, прослезился.

– А ведь я тебя помню, – все больше любил Хирурга Боцман. – Мы с тобой на «Быстром» ходили. Капитан у нас еще Семенов был.

– Это я тебя помню, – вздохнул Хирург. – Мы с тобой под Сусуманом в одном лагере страдали. Правда, я уже досиживал, а тебя только приодели в казенку. Корпус у тебя заметный, вот ты на память и лег. Сейчас узнал. Тебя, кажется, Боцманом, что ли, звали.

– Точно, – помрачнел моряк. – Одно название осталось. А тебя-то как? Чего-то не узнаю, прости. Дым в голове.

– Меня-то?.. – Хирург помолчал, подумав, кто он действительно такой есть на белом свете. – Был хирургом когда-то. Тоже одно название, прости, Господи. Теперь-вот – знахарь. Ворожей, одним словом. Лепило.

– Да-да-да, – просветлел памятью Боцман. – Обличье твое, видишь, истерлось, а может, и не видел я тебя никогда. Я там первое время вообще никого не видел. Сам знаешь... А вот рассказов о тебе слышал много. Как ты переломанными клешнями эков спасал. Покажи клешни-то.

– Что я тебе, экспонат? – обиделся Хирург.

– Ладно, не серчай, – повинулся Боцман. – Стакан держать можешь? У меня еще пузырь есть.

– А у меня килька в томате, – соорганизовался Хирург. – И хлеба ломоть.

– Ну вот, – обрадовался Боцман. – Видишь, брат, мне тебя сам Бог послал. А то я одним сырым ветром закусываю. Да вот луковица была.

Боцман в два приема расковырял банку каким-то заточенным для вскрытия спиртного гвоздем, откупорил бутылку и протянул Хирургу стакан, и когда тот взял его, Боцман содрогнулся, кисть была расплющена, пальцы вывернуты, и непонятно, как, за счет чего они действовали. Боцман заскрипел зубами и налил Хирургу полный до края.

– Твари, – сказал он неизвестным палачам. – Разве можно так уродовать человека? За что?

Хирург, поевший пищи за неделю один раз, прожевал после водки пару килек, покачался немного, глядя, как начинают летать далекие сопки, и лишь успел подумать, что может быть, эта весна поплыла с Востока. Прекрасная, нежная весна.

Боцман поднял его, павшего на песок, усадил к себе на колени, как малое дитя, отряхнул шинель и от бесконечного горя жизни бесслезно зарыдал одним горлом, глядя в застывшую, глубокую синь бухты.

В тот вечер, когда Хирург ушел от жизни в тихое беспмятство, Боцман немного покачал его на коленях для собственного успокоения, потом взвалил тюремного лекаря во всей его морской форме к себе на плечи – Хирург был вдвое легче портовых мешков – и не спеша, двинулся домой.

Конечно, в таком навьюченном состоянии по городу Боцман пробраться не смог бы. Поэтому, дойдя до порта, он остановил пограничную машину и, указав на Хирургову шинель, объяснил, что сей морской пограничник по причине усталости от службы нуждается в немедленной доставке к месту проживания. Лейтенант, сидевший рядом с молоденьким водителем, почуял от Боцмана нетрезвый ветер и посочувствовал морскому охраннику границ, сказав: «Давай, кидай его взад, на корму».

Хирург очнулся в тихой незнакомой комнате на приличной кровати среди, как ему показалось, очень хорошей и даже пугающей обстановки. Здесь была та самая кровать, на которой царственно, под настоящим ватным одеялом возлежал Хирург, две табуретки, тумбочка, являвшаяся одновременно и столом, и газовая печка. То есть полный комфорт. Кроме того, на стене висела шикарная афиша, прочно прибитая ржавыми гвоздями. Афиша изображала каких-то грузин с гитарами. В углу на стуле со спинкой стоял огромный, как собачья будка, старый телевизор с бархатным слоем пыли на экране. Все это было для Хирурга чем-то вроде московского «Метрополя».

У него нехорошо заныло под ложечкой: куда это занесла нелегкая?

И вдруг страшный ужас пронзил лекаря. Он понял, что на нем нет шинели. Хирург вскочил, как от разрыва бомбы, но обнаружилось: шинель аккуратно висела позади кровати на качественном, прочном гвозде. От мгновенной усталости духа Хирург снова упал на постель, чтобы сердце вышло на ровный ход.

Было тихо, только со двора все время раздавались какие-то чавкающие звуки. Хирург выбрался из-под одеяла и осторожно подкрался к окну. По истоптанной грязи подворья ходила и паслась какой-то дрянью из нескольких, выставленных в ряд корыт, толпа жирных, неторопливых свиней. Среди них возилась с ведром крупная, сама похожая на одну из чушек, тетка лет семнадцати.

Хирург вообще перестал что-либо понимать. Он трудно вспомнил, что встретил Боцмана, что они выпили на берегу, что он, Хирург, съел две кильки, что был синий вечер с далекими огнями кораблей. Но откуда взялась свинарня? Этого он понять не мог.

Слава богу, на тумбочке обнаружилась записка. «Пошел на работу. Буду позже. Никуда не совайся. Харч промеж окон. Боцман. Смотри, не вылазь».

Хирург стал думать, успокаиваясь: до вечера далеко. Что бы ему такое сделать? Чем бы стратегически полезным заняться? Но ничего не придумал. Из «харча» имелся кусок сала, видно, соседского, и соленый огурец, так что готовить было нечего. Выходить из дома Хирург

не помышлял, раз хорошим человеком никуда не велено «соваться». Тогда он лег на кровать и уснул до вечера, потому что не помнил, сколько лет назад нормально, по-человечески ночевал.

Вечером пришел с трудовой вахты Боцман.

– Ты тут, – обрадовался. – А я целый день боялся: не дай бог утечешь.

– Зачем? – сказал Хирург. – Записка ясная. Что ж я тебя подводить буду.

– Правильно, – сразу успокоился Боцман и кинул по привычке забрызганный рыбьей чешуей бушлат на газовую печку. Затем он смыл хозяйственным мылом с рук полведра мазута с сажей, умыл бороду и вытерся внутренней частью своего универсального бушлата. И расцвел.

– Порядок, – удовлетворился Боцман общим положением. – Давай будем рубать.

Из той же внутренности бушлата он извлек бумажный сверток, в котором оказалось килограмма два селедки.

– В порту сегодня был, – объяснил селедку Боцман. – Ребята дали. Говорят – бери ведро. Жалко ведра нету. А то бы засолили.

Двоем они кое-как пожарили на сале рыбу и сели за тумбочку. Тут во время ужина Боцман и учинил Хирургу строжайший допрос, из которого выяснил его канализационное местожительство и кое-что в общих чертах из прошлой жизни. Хирург же, в свою очередь, тоже проведал о следователе кое-что в общих чертах, поскольку в здешней местности не принято было говорить о себе больше нужного, как бы ты человека не возлюбил. Тут действовал закон особой мужской скромности.

– Так, – вынес приговор Боцман. – Будешь жить у меня. Мол, брат из Находки. Своим свинарям-соседям скажу, чтоб не цеплялись. И баста. Понял? А дальше видно будет. Может, я тебя официально пропишу, как какую-нибудь родственную личность.

До самой поры сезонных работ так и жили они по приказу Боцмана вместе.

Хирург похорошел, приосанился, даже между кожей и костью у него образовалась от постоянного питания легкая жировая прокладка. Весь этот период он тоже не сидел без дела.

Однажды Боцман привел с собой портового грузчика, здоровенного, краснолицего дядю, который внутри был калека. Много лет его жгла, точила и не давала жить язва желудка и потому, хоть он и имел красивое мясистое лицо, но лик его был таким кислым, словно он навсегда объелся клюквой. Хирург усадил грузчика на собственную кровать и мягким, задушевным голосом родного брата попросил поведать ему, какое жизненное неустройство испытывает пострадавший. Грузчик сгрел с головы шапку и открылся Хирургу, будто на исповеди.

– Тогда будешь делать все, как я скажу, – постановил Хирург. – Иначе катись к чертовой матери.

Грузчик недоуменно посмотрел на Боцмана, мол, не Христос ли это, но согласился.

– Ладно, – сказал Хирург. – Тащи свой матрац – станешь жить при мне три недели, чтоб я тебя видел глазами. Короче, я тебя тут госпитализирую. На работе бери отпуск или как ты там сможешь – твое дело.

Через три недели бывший калека, веселый и отощавший, так как Хирург не давал ему ничего есть и только поил медвяной водой да палил язву через культяпки силой своего сердца, вышел на улицу и вдруг радостно подпрыгнул, напугав проходившую мимо старушку.

На следующий день грузчик отправился в поликлинику, где его давно знали, как хронического больного. Врач посмотрела нутро пациента специальной японской камерой и удивленно спросила: «Вы чем лечились? Поразительно. Даже прежних рубцов нет». «Ничем не лечился», – ехидно ответил здоровый грузчик, взял шапку и, выходя, хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка.

Вечером он принес Хирургу коньяку и денег. И немало денег, поскольку много лет доверялся врачам, а все оказалось без толку.

От такой материальной благодарности Хирург наотрез отказался, покрылся волнением и нечаянно взмахнул рукой, отчего вдруг ветхая его рубаха взяла и разошлась на спине от шеи до самого низа.

«Хорошо», – согласился грузчик, отметив неопровержимый факт негодности Хирурговой одежды. Забрал деньги, а коньяк оставил, сказав: «Хотите – пейте, хотите – бейте». И ушел.

На другой же день этот неугомонный грузчик принес Хирургу полное обмундирование, начиная от унтов и кончая лисьей шапкой, опять сказав: «Хочешь – выбрось, но это я тебе дарю от чистого сердца». И исчез теперь уже окончательно.

Делать нечего – пришлось Хирургу принять.

Дареную синтетическую шубу Хирург носить не стал, не изменив своей драгоценной шинели. В унтах, морском пальто с медными пуговицами и огромной огненно-рыжей лисьей шапке он сделался похожим на золотопромышленника-декадента. Некоторый народ оборачивался, чтобы запечатлеть необычное одеяние отставного, по всей видимости, моряка, а иная зоркая молодежь понимала Хирурга, как новую моду. Милиция теперь подходит к нему опасаюсь. Хирург это сразу почувствовал и разгуливал по городу бесстрашным шагом.

Вслед за грузчиком явился согбенный рыбак, в обличье которого было полное нежелание жизни. Он принес Хирургу свой давний радикулит. Рыбака Хирург в «стационар» не положил, а велел являться на амбулаторное лечение. В первый же день Хирург раздел рыбака догола, вывел на мороз и окатил из ведра ледяной водой. Затем крепко растер его нутряным свиным жиром, который Боцман по приказу целителя попросил у соседей как лекарство. Потом Хирург положил рыбака на тощий матрац, расстеленный для жесткости прямо на полу, накрыл одеялом, оставив пустой лишь одну поясницу и начал ходить по ней босыми ногами, а после – толочь ее культиками.

Больной выл так, что во дворе пугались свиньи и прятались от рыбака в свинарник. Зато после жестоких экзекуций Хирург чуть отдалялся от страждущего, садился на колени и начал колдовать руками над недужим местом, как бы давя на него через расплюснутые, вывернутые пальцы неведомой силой. Тут измученный рыбак сразу засыпал, посапывая, будто ребенок.

Через десять дней повеселевший, полностью разогнутый работник моря, зная, что Хирург денег не берет, выволок из такси бочонок красной икры, заявив на яростные возражения лекаря: «Не ори. Видишь, сам нес через весь двор, целых тридцать метров. Значит, ты меня качественно починил. А назад я бочонок не попру. Хоть стреляй». Сел в машину и укатил.

Затем с визитом была полная дама лет тридцати. Может, сорока. У дамы где-то что-то «свербело», а где – она и сама не знала.

Хирург сразу поинтересовался ее личной жизнью, замужем ли она и как часто испытывает женские радости наедине с мужчиной.

Выяснилось, дама не замужем, но у нее есть жених, трудящийся на флоте, и потому, конечно, женские радости ей приходится испытывать нечасто. Тут посетительница уже прониклась к Хирургу доверием и созналась, что такое положение ее, откровенно говоря, не устраивает, и она беспокоится, не станет ли изменять будущему супругу вследствие сложившейся ненормальной ситуации в то время как женские радости ей требуются чуть ли не каждый день.

Хирург задумался. Ему не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Где у дамы свербит, было понятно, но как ей помочь, он затруднялся. Однако недужная пациентка в порыве откровения донесла целителю, будто жених плюс ко всему не всегда ее удовлетворяет, и это обстоятельство неожиданно облегчило задачу.

Хирург тут же любопытствовал, в каком положении фигур строятся любовные отношения. Дама несколько смутилась, покраснела, высморкалась в надушенный платочек и, наконец, созналась, что ее суженый, хоть и моряк, но фантазией ума не отличается и норовит по праву мужчины расположиться всегда сверху, не понимая, что эту позицию, равно, как и про-

чие, иногда невредно уступить и женщине. Дама же – существо слабое и противиться не может, так как она приличного воспитания. Не дай бог работник моря что-нибудь заподозрит: все-таки, ей уже не двадцать.

Хирург сказал: «М-да-а...» и посоветовал даме отбросить всякий стыд как предрассудок, предаться с женихом самому вольному воображению и привлечь к этому плаванью любви непосредственно моряка, сделав его капитаном дальнего странствия. К сему Хирург добавил некоторое практическое руководство на случай обвалных штормов, грозных ливней или, напротив, полнейших, томительных штилей. Ну а в случае чего, Хирург посоветовал сослаться на рекомендации врача.

Дама удалилась со счастьем тайной надежды в глазах, не предложив ничего, кроме «мерси» и позволения снова явиться через некоторое время. Для консультации.

Хирург был доволен: хоть что-то сделал бескорыстно, однако, ложась спать, обнаружил под подушкой деньги. И немало денег.

– Ты бы мог миллионером стать не хуже моих свинаярей, – невпопад высказался Боцман.

Хирург помолчал и горестно вздохнул.

– Эх, Петя. Хороший ты человек, а тоже во тьме. Дурак, прости, Господи. Я вот и за тебя скоро возьмусь. Ты разве не видишь глазами: эти миллионеры... – Тут Хирург захлебывался от избытка ярости. – Это же все рабочие дьявола. Им нужно больше, больше, еще больше. Есть у них честь, совесть, человечность? Они бегут по головам и трупам, слепые и безмозглые. Бегут до первого поворота, за которым и встречная машина, и пуля в груди, и просто рак мозга или печени. Или смерть ребенка. За все придется отвечать, Петя. А ты говоришь – миллионером... Их только пожалеть можно. Да и то нельзя, потому что в жалости есть осуждение. А кто мы такие – судить? Сатана берет их и машет зеленой бумажкой перед носом, и они цепляются, забывая, что Иисус говорил: «Если потеряешь себя, то достигнешь. Если будешь цепляться за себя, то потеряешь...»

– Ты это наблюдаешь? – показывал Хирург расплющенные руки. – Твои свинаярей животных на деньги переводят. А те... – Он заскрипел зубами и посмотрел в черное окно. – Те людей... За власть. Вся Колыма костями, как горохом, засеяна.

– Это правда, – согласился Боцман и тут же политически засомневался, – но тогда получается, я плюралист, а ты нет.

– Шел бы ты к такой-то матери, – злился Хирург. – Где ты слово это дурацкое отковырял?

– В газете. Где же еще, – сознался Боцман. – На обеде сижу, газету читаю, а тут начальник смены, Степан Семенович. Сильно культурный человек: всегда «Огонек» под мышкой носит. Я его в лоб и спросил, мол, что за слово. Он мне сразу и растолковал. Это, говорит, когда и нашим, и вашим. Вот и выходит: значит, я – сука, а ты – прямой человек.

– Молодец, хоть тут разобрался, – одобрил Хирург.

Так и прожили они в дружбе и общем согласии до теплых дней, до времени явления, как грибов, из-под земли, бичей. Настала пора сезонки, и Боцман сказал:

– Вообще-то я думал к рыбалям податься, но раз с твоими граблями сети не потаскаешь – пошли косить сено. Это тоже работа знакомая.

– Сволочь ты, – растрогался Хирург и обнял Боцмана. – А я все думаю, боюсь спросить, вдруг ты чего затеял со своим морем. Мне тут, сам видишь, опасно. Народ пошел валом. Отказать я не могу. А участковый узнает – каюк. Пойдет Хирург опять лечить эков. Только я уж оттуда не выберусь. Властям разве чего докажешь? Не имеешь право на частную практику – и все тут. Опять же, прописки нет, да еще в погранзоне. Нужно мотать отсюда, куда глаза глядят. Хоть к тебе в Калугу, хоть ко мне в Питер. Сейчас перестройка. Такое время – везде всех за людей признают. Везде, только не тут.

При этих словах друга Боцман помрачнел.

– Нет, Дима, – признался он. – Я от моря не отвернусь. Весь я здесь. Оно во мне, море. Понимаешь? Проводить – провожу. Тебе, понятно, нужно лететь. А сам я... Ты уж прости.

– Ладно, – пресек Хирург душевную боль. – Заработаем денег, дальше видно будет.

Боцман посмотрел на Хирурга каким-то внимательно ласковым взглядом и вдруг спросил совершенно неожиданно:

– Слушай, Дима, тебе сколько лет?

Последовала немая пауза, в течение которой Боцман взирал на Хирурга, как на некое нежное и в то же время туманное явление.

– Я, откровенно говоря, хотел поинтересоваться, – продолжил моряк, – да все неловко было. Иногда гляжу, тебе восемьдесят, не меньше. А иной раз, извини, конечно, ты – салага салагой. Ну, пятьдесят. Самое большое. Это как?

Хирург вздохнул. Он давно уже перестал обращать внимание на плывущие в бесконечность собственные годы. Большая их часть прокатилась, как товарняк, оставляющий в душе лишь полынный осадок и тоскливую сумятицу истрепанных чувств.

– Шестьдесят с хвостиком, Петя, – задумчиво сообщил Хирург, уставившись в одну точку. – Порой кажется, что мне двести, триста, а то и все пятьсот. Что я старый, как остров Спафарьева. Но, видно, было и есть много такого времени, которое я, в силу своей судьбы, еще не прожил. Вот почему подчас меня как бы снова перебрасывает в молодость. На такой волне и живу, – грустно улыбнулся Хирург.

– Про что и разговор! – обрадовался Боцман. – Разве кто против? Живи, пожалуйста, – разрешил он.

...Автобус круто повернул, и пассажиров кинуло вбок, аж кувырнулся и загремел позади какой-то ящик с железом.

– Эй, ты, косорукий! Ты что, дрова везешь? – взорвался еще один собригадник Хирурга – Борис. Он вообще имел свойство моментально воспламеняться. При этом вспыхивало все: глаза, щеки и даже губы, обрамленные легким, темным пушком. Восточное лицо его было красиво гордой, упрямой, но какой-то злой красотой. Он был четвертым в их бригаде. Хирург вдруг ясно вспомнил день их знакомства.

...У дверей Стройуправления, набиравшего в основном бродяжий народ на сенокос, стояли трое: Хирург, Боцман и странствующий Василий, который для дальнейших продвижений в пространстве Земли тоже нуждался в средствах, и он решил на время приостановить свое шествие по планете, прикрепясь для денег к какой-нибудь сенокосной бригаде.

Был май, но океан еще дышал холодом. Солнце ныряло из тучи в тучу, и налетавший порывами ветер развеивал пепельно-рыжее пламя бороды Боцмана.

Подходили к Хирургу и тот и этот, но ни тот, ни этот не производили на бригадира впечатления людей, способных справиться со всем объемом тяжелых летних работ. И тут появился Борис. Он подошел самоуверенной, неспешной походкой человека, знающего себе цену. Модный черный плащ, белый шарф, аккуратная стрижка, твердый взгляд, крепкие плечи, на вид – лет двадцать пять.

– Мне сказали, ты бригадир, – обратился он к Хирургу. – Я тот, кто тебе нужен. Вырос в деревне. Могу косить, таскать, стожить, баню поставлю. Избу, если надо, срублю, словом...

Хирург его взял. Сомнение мелькнуло лишь в том, что Борис был не из бичей, но анкета не требовалась, и потому взял. Бичи шли на сезонку от нужды и во спасение. А этот? Что-то тут было не то. Однако дело сделано.

...Океан исчез за поворотом, и Боцман задремал. Дремал так же путник Василий, склонив от усталости существования набок голову, самолично тронутую тупыми ножницами, отчего волосы его наталкивали на мысль о стригушем лишае. Обругав шофера, угомонился и

разомлел Борис. Посапывали старатели. Лишь Хирург, несмотря на однообразное течение природы за окном автобуса, обрел какую-то нежную ясность воспоминаний. Целитель словно бы возвращался душою назад, в те благостные росистые утра пролетевшего таежного лета, когда солнце еще дремало за спинами замшелых сопок, а он и его ребята уже швыркали мокрыми ножами кос среди пахучей болотной травы. С каждой отсечкой зубчатая стена леса приближалась на один шаг, вспыхивала синим огнем гряда дальних гор, а грудь наполнялась густым свежим воздухом. Ранние птицы размывали темно-зеленые тени, дробили их тонкими хрустальными трелями. В то короткое время тяжести, покоя и влаги перед восходом солнца тугая волна неведомого, таинственно прекрасного плыла по всему окрестному миру, благословляя живущих на земле достойно встретить и достойно прожить каждый нарождавшийся день.

Перед тем как взять в руки косу, Хирург обязательно возносил от сердца молитву, сочиненную им еще в лагере, улетал для приветствия и благословления к небесному Отцу сквозь неведомые миры и лишь затем, вернувшись, брал приготовленный заранее, отточенный, привычный инструмент.

Потом на местах покосов вырастали острые, позолоченные солнцем, копешки, стоявшие, как молодые солдаты, стройными рядами. Эти жарко дышащие после просушки копны укладывали на две длинные жерди-волокуши, впрягались в них за неимением лошадей сами и тащили по кочкам, обливаясь потом, тяжелый груз к местам будущих стогов.

Работа была не из легких. Но Хирург вспоминал о ней с любовью и почтением. В лагере ему приходилось трудиться и бухгалтером, и учетчиком, и завскладом, что не требовало особого физического упорства, но тюремный труд, какой бы он ни был, не приносил памяти счастья и с нею не уживался. Напротив, таежная работа прочно откладывалась в сердце, как нечто дорогое и незабвенное.

Хирург вспомнил, как перед самым нерестом горбуши, когда обнаружился хищный, похожий по окрасу на тигра, голец, неподалеку от их стоянки стала появляться с веселым медвежонком счастливая, но строгая мамаша-медведица, лупившая свое чадо за всякую проказу чисто по-человечьи лапой по заднице.

Целитель выбирал время, когда медведица с малышом удалялись к речке на охоту, и относил к их лежбищу в стогу сена то сгушенку, то банку тушенки.

Иногда приходили лоси и смотрели на людей большими ореховыми глазами, таившими мудрость, спокойствие и осторожность.

Была у Хирурга и давняя подружка – черная белка, с которой он приятельствовал уже несколько лет, расставаясь лишь на долгую колымскую зиму. Хирург дарил ей подарки: крупу, сахар, конфеты и разговаривал с нею, неумно сновавшей с ветки на ветку, о ее, беличьей, и о своей собственной жизни. Сейчас эта живая память грела его сердце под дружный аккомпанемент храпевших старателей.

В автобусе жарко пахло бензином, металлом, вином и сигаретным дымом. Сопки, что древние мамонты, медленно ползли одна за другой, утверждая неколебимость вечности. Сколько миллионов лет торчали они тут, на этой земле, – одному Богу было ведомо. Но каким ветром нанесло сюда вселенскую пыль, осевшую в стылой Колымской земле в виде пустого праха тысяч людей, растаявших здесь без следа? Какой волной выкатило к подножьям сопки малые песчинки в образах Боцмана, Василия, его самого, Хирурга? А главное – зачем? Что явилось целью? Ведь просто так ничего не бывает.

Под лучами мыслей Хирурга покатые, стесанные пирамиды гор превращались, сохраняя очертания, в голубой дым, в котором он с интересом разглядывал некие причудливые очертания, таинственную материализацию памяти, где люди, события, даже медитация с прошлым и будущим обретали чудесную органическую плоть.

«Поразительно! – восхищался Хирург. – Посредством одного голого воображения можно сотворить целую Вселенную, вдохнуть в нее жизнь и затем наблюдать за нею, как, должно

быть, сам Господь наблюдает за нами, созданными по его же подобию. Не эта ли та самая игра, которую затеял вселенский Мастер с нашей жизнью?»

Вот в бугристой толще синей сопки Хирург обнаружил Боцмана, большого бородатого увальня с доброй, непорочной душой, и ему стало тепло, как возле печки. Но за что Петру выпала такая тяжелая доля?

«Игра, – убеждался Хирург. – Игра. И смысл ее в испытании. Останешься ли чистым? Не запятнаешь ли себя чем-либо?»

...Путешественник-Василий понравился Хирургу своей откровенной смешной заумью и таким же забавным полубичевым походным видом – потертый, старый костюм, галстук, портфель, кирзачи.

Борис был крепок, молод, к тому же, как выяснилось, хоть и не сочеталось с его лощеной наружностью, из средневожских крестьян.

– Для справки, бригадир, – пояснил себя Борис, когда документы были оформлены. – Работал в кафе, за стойкой. Ну и кого проводить... Всякое. Случилось – конец смены, клиент один стал выделяться: то ему не то, это не так. И глаз уже мутный. Я его за шкуру – и на выход. Он в дверях уперся. Не ментов же мне звать. Словом, надо же было ему, дураку, виском в батарею. Потом скорая, больница, следствие. В общем, мне посоветовали исчезнуть хотя бы на время. Не везет мне с дураками. Из дома вот так же покатило. Треснул на танцах одного дурня – у того челюсть с петель и сотрясение, а мне бакланка. Весь трешник отмотал. Но больше как-то неохота к этим волкам. Век бы их не видеть. Да что тебе говорить. Ты сам-то, дядя, я гляжу, не хуже меня знаешь: по глазам заметно.

– Меня твоя биография не увлекает, – сказал Хирург, поняв, с кем имеет дело. – Главное, чтобы ты справился.

– Не дрейфь, бригадир. Работа знакомая. Силы на двоих. Верись, в зоне даже руки по косяку сучали.

– Ладно, Боря, – поразмыслил Хирург. – Может, при нас еще и выровняешься. На ринг пойдешь работать в крайнем случае, а не в кабак.

Борис метнул колючий взгляд.

– Я сам решу, куда пойти.

Насчет деревни Борис сказал правду, но наполовину. В деревне у него жили дед с бабусей, и он в детстве на все лето отправлялся к ним. Там с дедом научился и косою водить, и коней пасти, и телят принимать, и еще многое другое. Отец был русский – Дмитриев Николай, а мать – татарка, Нигматулина Саида, женщина по-восточному красивая до очевидной прелести, поэтому, когда во время второй беременности Саида чем-то таким женским заболела и при помощи неизвестной знахарки тихо померла, отец – Дмитриев Николай – сильно, без меры горевал. Работал он слесарем по ремонту автомобилей, так что деньги водились. И деньги эти отец употреблял на горе. Борьке в то время было шесть лет. Нет, в течение дня отец держался до того момента, пока не укладывал сына спать, а уж потом открывал шкафчик, где всегда стояло лекарство от беды да фотокарточка жены-покойницы.

Так сын рос, отец попивал, а время разводило их в разные стороны. Далее, по мере мужания сына, Дмитриев Николай мог уже позволить себе идти с работы на нетрезвых ногах. Отчего же – парень взрослеет, свои интересы. Ему-то, отцу, что одному делать? Дмитриев же Борис действительно вырос и гулял по всей округе. Не было такого места, куда бы не распространилась его горячая натура, не было такого пацана, который не знал бы, не испытал на себе Борькины кулаки. Две стихии слились в нем – восток и запад – и дали ум, силу, хитрость, ловкость, талант, но и рвали его на части. Он мстил всем без исключения. Мальчишкам, девчонкам, учителям, старшим, младшим, кошкам, собакам, воробьям и воронам. Мстил за смерть матери, за пьянство отца, за невозвратность деревни, за свое одиночество, за первую любовь,

за упрёки учителей, за дождь, пыль, град, гром и ветер. Душа его пребывала в постоянной странствующей тоске, ей было тесно в сильном теле; она росла быстрее его и потому все время рвалась, как рубаха не по росту, то в одном, то в другом месте.

Борис штопал ее скрытыми ночными слезами, далекими мечтами, рукопашными схватками и кровью.

Учился он легко, как бы в пересменке между шальными выходками, уличными боями и любовью, еще не сказанной, еще потаенной, но уже стучавшейся в нем, как сердце.

Его ежедневно одергивали, говоря, что он не смеет выделять среди сверстников ни ума, ни чувства, ни натуры, что учиться нужно по программе, а сверх этого – скорее плохо, чем хорошо. Тогда Борис уходил на улицу. Улица раскрепощала, ничего не требовала, давала свободу.

Любовь... Она кралась за ним по пятам. Борис убежал, уходил, улепетывал. Но она все равно настигла его и обрушилась сразу, внезапно, будто из-за угла. Любовь оказалась сильнее. Этого он пережить не мог и вышел к ней один на один. И проиграл.

Теперь кураж налился еще большей мстительностью за оскорбленное достоинство. Так и прокатились, прогремели, как колеса по мостовой, школа, техникум. Потом тюрьма, ресторан, деньги, деньги... И вот – опасность нового срока.

Борис сразу забрал из ресторана документы и ушел «под воду».

...Автобус мерно покачивало, ровно урчало его железное нутро, и Боцману привиделось, что он на родном «Быстром» отдыхает после вахты в собственной каюте. Он даже расплющил сонное око, желая проверить действительность, врет она или нет. Обнаружилось: врет, и Боцман, затворив глаз, снова погрузился в свой кубрик.

Начальник хозотдела управления, формировавшего сенокосные кадры, имел спокойное, неподвижное имя – Мебель Эдуард Семенович и поперек имени буйную, штормовую энергию, про обладателей которой говорят: в попе шило.

Не в силах совладать с рабочей страстью, Мебель бросался от одного дела к другому, от того к третьему, четвертому, пятому, и так – изо дня в день. В результате, полностью не выходило ни первого, ни последнего. Зато с утра до вечера он мелькал повсюду: в кабинете директора, на складе, в траншее, мастерской, на подножке грузовика, на пожарной вышке, еще где-нибудь, где был не только не нужен, но даже вреден, так как всегда вносил лишь, смуту и неразбериху. У Эдуарда Семеновича от постоянного лишнего движения и зуда в голове царил полный хаос. Отгрузки, погрузки, ремонт квартир, гвозди, бланки, скрепки, отчеты, доклады, жалобы, вопросы, ответы и многое другое одновременно варилось в государственном мозгу Мебеля, хотя на вид Эдуард Семенович ничего особенного собой не представлял. То есть не имел какой-либо державной внешности, лишь средний рост, залысины, очки. Ну, был бы это человек громадной величины или владел боевым шрамом на лбу, на худой конец гордился бы величественными густыми бровями, так нет же. Мебель и без всяких, необходимых большому деятелю примет умудрялся тайно и явно разваливать все управление.

Хирург по прежним годам знал все великие достоинства начальника АХО, поэтому на следующее после оформления документов утро вышел на середину хозяйственного двора, огляделся окрест и, завидев на одной из складских крыш мятущуюся фигуру со сверкающим на солнце стеклом, сразу направился туда.

Когда Хирургова бригада походила к складу, Мебель поворотился к ней спиной, примеряя стекло к чердачному окну.

– Ну-ка гаркни ему, – сказал Хирург Боцману. – Семенычем зовут. А то я голос простудил.

Боцман «гаркнул», да так, что Мебель вздрогнул, словно его тронули электричеством, и выронил будущее окно себе под ноги.

– Слезай, – махнул рукой Хирург. – Потом подберешь. Разговор есть.

Эдуард Семенович, как человек интеллигентный, начальственный, поправил очки, галстук, отряхнул от стекла брюки и слез по лестнице вниз. Тут он сказал Боцману несколько непечатных выражений, которые сразу всем понравились, кроме блаженного Василия.

– Держи, – обязал Хирург и протянул Мебелю бутылочку с какой-то темной жидкостью. – Помню, тебя чирии всегда сзади грызли. Будешь мазать на ночь, как выскочат. Теперь к делу. Через неделю, я слышал, лететь. Значит, займись сегодня только нами. На твоей шее сенокос. Выдай, пожалуйста, продукты, все, что положено. Мы их свалим в какую-нибудь комнату под замок и будем спокойны за дальнейшую жизнь. А не то ты сейчас опять закатишься порхать по крышам, как воробей, а нам, дурням, лови тебя, прыгуна, прости, Господи. Народ из-под земли на перестройку вышел, а ты, извини, как скакал по складам десять лет назад, так и теперь прыгаешь, что горное животное. Никакого в тебе усовершенствования.

– Я рад, Хирург, тебя снова видеть не своем участке, – торжественно поприветствовал Эдуард Семенович Мебель народного лекаря. – Спасибо тебе за снадобье. Смотри-ка, не забыл. Но вот что хочу сказать. Хоть ты, Хирург, и образованный, культурный бич, а не понимаешь, что если бы я не перемещался в воздушном пространстве отсюда туда и обратно, то в своем дерматиновом кабинете давно бы уже бросил кони. Верно, нет?

– Разумно, – согласился Хирург.

Высказав свое рассуждение, Мебель улыбнулся из-под толстых очков мелкими глазами. У него на лице-то и было, что очки, крутой нос и губки, словно у девушки.

– Все вещи в труде, – невпопад процитировал Василий и библейски оправдал вездесущую политику начальника. – Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, – прочитал он по памяти. – И нет ничего нового под солнцем.

Эдуард Семенович в тревоге снял очки и внимательно посмотрел на своего будущего сенокосчика. Словно на Колыму приземлилось НЛО.

– Какая-то у тебя нынче межпланетная бригада, – сказал он Хирургу, обзрев теперь уже и Бориса, и Боцмана.

– У нас нынче духовный сенокос намечается, – пошутил Борис. – Вот отец Василий соблаговолил принять участие. Приезжай, Эдуард Семенович. Проповедь послушаешь. В церкви, поди, отродясь не был?

– Тут и храмов-то, на Колыме, днем с огнем не сыщешь, – посетовал Василий. – Вот где дьяволу раздолье. Тут уж он наигрался, наелся и напился.

Мебель снова опасливо посмотрел на путешественника Василия, поскреб пальцем стриженный затылок, но согласился уделить подопечным рабочий день, оставив на произвол свои драгоценные крыши.

У продуктового склада выстроились в очередь и другие сенокосные бригады исхудавших оптимистов. Хирурга они встретили гулом братского приветствия.

Продукты получали на весь сезон, на все короткое колымское лето.

Хирург с Мебелем уселись проверять наличествующий провиант по амбарной книге. Боцман же, Василий и Борис приняли на себя тягловые обязанности – перетаскивать мешки с ящиками в личный, отведенный Эдуардом Семеновичем, сарай. Правда, Василий застрял на втором витке в чужой бригаде попроповедовать и вскоре вернулся уже не Василием, а Гегелем. Это имя-звание ему выдал один бродяга-философ, учившийся когда-то в Московском университете. Остальные бичи поняли, что Гегель – это забавная кличка некоего чудного мудреца и одобрили новое звание Василия.

Небо в тот день распахнулось настезь и солнечной синевой напоминало опрокинутое ввысь море, подпираемое со всех сторон заснеженными верхушками сопок. Не хватало лишь криков чаек.

Боцман, обратив на это явление флотский взор, затосковал.

– Чуешь, Митрий, – окликнул он своего нынешнего непосредственного начальника Боцман, – что-то мы с тобой давно на берег не ходили.

– Сегодня ходим, – пообещал Хирург. – Как раз Ивана полечим и ходим.

Иван был таежным пожарным и страдал геморроем. Эти данные Хирург с Боцманом получили нечаянно от самого больного, находясь в пивном баре.

Хирург любил тайгу, и ему нравилось, что существуют люди, которые ради ее спасения могут кидаться с вертолета в огонь вниз головой. И он взялся помочь герою, тут же вытолкнув его в шею из пивнушки и запретив вообще в ближайший месяц прикасаться к спиртному. «А лучше забудь про это навсегда», – добавил он.

Забыть навсегда Иван отказался, но воздержаться от алкоголя месяц сподобился потерпеть.

Только к вечеру бригады получили продукты и необходимый инструмент. Могли бы справиться и раньше, однако Мебель, терзаемый внутренними бурными реакциями, вдруг вскакивал, бежал куда-то, за лопатами, косами и топорами. Но на полпути решал, что нужно проверить, как протекает ремонт водопровода, прибыла ли машина с шифером, а если прибыла, то идет ли разгрузка, объявился ли рабочий Фокин, которому два дня назад на ногу упал станок, и много других мыслей выстреливало в неумном мозгу Эдуарда Семеновича в сторону от сенокосчика. Те в долгие часы отсутствия Мебеля сидели на ящиках у склада, изводили табак и нещадно крыли начальника. Эти люди, измученные безалаберным существованием и бездельем, уже не могли дождаться вылета в тайгу. В который раз они мечтали начать новую жизнь среди лесной тиши и покоя, чтобы потом, окрепнув нервами, телом и финансами, вырваться все же из-под земли наружу и стать такими же, как все, нормальными, не хуже, а может быть, и лучше других. Но вот появился Мебель и, пропустив мимо ушей рокот гнева, как ни в чем не бывало, снова начинал выдавать продукты, потом опять куда-то срывался, и так целый день.

– Баламут, – беззлобно определил Эдуарда Семеновича Боцман. – Я бы за это время уже червонец где-нибудь на ужин уцепил.

– Про что и разговор, – скачающе отозвался Хирург.

К вечеру день постарел и начал закрываться от света тяжелой, седой тучей. Дохнуло холодом, и весна вмиг была проглочена неожиданно налетевшим, пронизывающим ветром. Это еще больше злило сезонников.

– Все, – подхватился Борис. – Не могу больше, мужики. Пойду, а то я сейчас нашему Мебелю очки расплющу. Нельзя мне на новый скандал нарываться. Пойду. Вы уж как-нибудь без меня доберете, что нужно, – сказал и вскоре скрылся за воротами.

– У него внутри какой-то червяк проживает, – догадался Боцман.

– Досада в детстве была, – определил Хирург. – Злой он на весь мир. Это тяжелая болезнь.

– Томление духа, – классифицировал Василий. – К тому же кровь густая. Видишь ты, какая Атлантида у человека.

Эдуард Семенович явился в тот момент, когда у склада стоял уже зубовный скрежет. Зато в руках он нес ведомость, а в кармане – каждому мелкое денежное вспоможение. Народ сразу потеплел и «трухлявый Мебель» стал нежно именоваться Семенычем.

– Это на конверты, нитки и носки, – дал установку Эдуард Семенович, вручая хрустящие купюры.

Будущие сенокосчики, получившие аванс, срывались, как со старта, на полную дистанцию до самых дверей винного магазина. Гегелю тоже хотелось рвануть за всеми, но его новые друзья – Хирург с Боцманом – никуда не торопились.

– А вы что же? – поинтересовался проповедник. – Разговеться не желаете?

– Желать-то мы, конечно, желаем, – признался Хирург. – Но опасаемся: Господь накажет. Гегель поковырял сапогом землю и неуверенно сообщил:

– Сирых Господь наказывать не должен.

– Точно не должен? – проверил Боцман.

– Не должен, – робко подтвердил Василий.

– Ну, тогда разговеемся, – согласился Хирург. – Только ты, Вася, не стремись никуда. Иди шагом. Для нас с Боцманом отдельная торговля работает. Так что не трепещи. Успеем.

Втроем они заехали домой, где их ждал Иван. Хирург попросил Боцмана с Гегелем покурить в свинарнике. Сам же тщательно исследовал нижнее заболевание пожарного – геморрой – и дал ему практические рекомендации, весьма отличавшиеся от тех, которые таежный солдат получал раньше. Пожарный даже слегка посомневался, можно ли методом Хирурга излечить болезнь. Но тот сказал: «Делай и не мычи. А будешь мычать – ходи в поликлинику до самой смерти». И велел явиться через неделю, так как потом, целых четыре месяца он, Хирург, будет проживать в тайге, а с заболеванием к этому времени желательно покончить.

– Ладно, – убедился пожарный. – Я тебе верю почему-то. Ты – людей, мы – лес лечим. Считай – одно дело. На-ка вот. Закусите с Боцманом за мое здоровье, – сказал он и положил на тумбочку пожарный мешочек. – Тама лосятинка вяленая, рыбех пара. Словом, так... закуска.

Хирург уже понял: с этим народом спорить бесполезно. Слава богу, Иван не совал денег. И на том спасибо. В лагере за бескорыстную помощь Хирурга просто уважали и ревниво берегли, делились сахаром, чаем, табаком. На воле же люди благодарили от щедрот, и тогда старому лекарю его работа казалась кощунственной, особенно, когда за нее предлагали деньги. Тут у Хирурга набухали нервы, и больно щемило сердце. Он отчего-то внушил себе или так было на самом деле, что за любое благое деяние люди должны получать ровно столько, чтобы существовать и совершать свою работу дальше. А что сверх того – гной и гибель духа. А с ними и тела, и человека.

...Дорога пошла вверх, на изгиб сопки. Водитель переключил скорость, и мотор, вздохнув, рванул вперед с новой силой ровной натуги. Обернутая пеленою метели, машина осторожно пробиралась к перевалу.

Старатели с сенокосчиками спали, словно казаки после сечи. Хирург разомлел от тепла, но мысли текли ясные, чистые, теплые.

Хирург думал о том, что наконец-то возьмет билет на самолет и унесется в другой мир совсем иной жизни, жизни, которую считал уже навечно потерянной, запредельной и несбыточной. Там были его детство, юность, любовь, слава. Туда должен был явиться он со всем своим знанием мира, людей, со всем своим нажитым грузом, рожденным из долгих страданий и мук. Кроме того, где-то в том далеком мире был его сын, не однажды приходивший к Хирургу во сне, и повстречать сына, заглянуть в его глаза было чуть ли не последней мечтой Дмитрия Валова. Словно в глазах сына он мог увидеть самого Бога. Хирург вдруг ясно вспомнил жену свою, как некую горячую звезду, и свет ее через воображение согрел его сердце нежной, щемящей тоской.

Впрочем, Хирург мало обольщался, полагая, что в том дальнем мире вряд ли кто ждет его и бросится навстречу с распростертыми объятьями. Но думать об этом и мечтать было хорошо, несмотря на любой исход возвращения.

Может случиться, его и не примут вовсе, рассуждал Хирург. Что он такое для той жизни? Высохший лист, брошенный ветром в чужое окно. Письмо, пришедшее не по адресу. И уж, конечно, не лебедь среди зимы.

Но верить в чудо хотелось. Хирург вообще научился верить в чудо, которое, по его отчаянно убежденному мнению, может быть тайно даровано человеку в знак поощрения чистой жизни при общей гематоме судьбы.

Разве не чудом было, что, спасая чью-то жизнь, он столько раз за все свои бесконечные годы выходил на битву со смертью с голыми, да еще увечными руками и в большинстве случаев побеждал.

Хирург без ножа рассекал гнойные раны и без иглы зашивал их. Вправлял суставы и сращивал кости. Заживлял язвы и выводил из комы. Останавливал удушье и боль сердца. «Колдун», – говорили эки за его спиной. – «Ворожей». Кто наделил его такой способностью – Хирург догадывался. С некоторых пор он уверовал: ни одно доброе деяние не остается без щедрой награды, равно как и любое злое воздается сторицей. Ему ниспослано было особое зрение, и однажды Хирург понял это, словно увидел молнию среди ясного неба.

Было седьмое ноября тысяча девятьсот очередного невероятно долгого и страшного года. Стоял солнечный морозный день. Снег возле барачков, утопанный ногами эсков, звонко повизгивал под сапогами начальника лагеря и его свиты. Жирные вороны сидели на черных нитях колючки, время от времени стряхивая в воздух серебряную пыль. Морозным белым войлоком был покрыт сигнальный рельс, подвешенный на толстой заиндевевшей проволоке.

Начальник лагеря шел вдоль строя заключенных в сопровождении двух вспомогательных службистов, глядел с хмельной поволокой в глазах на обнаженные по поводу праздника стриженные головы.

«Хозяин» не испытывал к подвластному ему серому человеческому материалу никаких чувств. Он просто совершал ритуальный, праздничный обход, потому что так было положено.

У заключенных в честь Седьмого ноября был выходной, и они терпеливо мерзли, ожидая, когда наконец кончится эта официальная чушь.

Ночью начальника донимали сильные боли внизу живота и в пояснице. Но к утру немного утихли. Сейчас, после стакана водки, рези исчезли совсем. Хозяин с благодушным бесстрастием пропускал сквозь взгляд худые изможденные лица и думал, что часа через два приедет к нему в гости старый друг, полковник Величко, офицер соседней воинской части. Привезет жену и подростка-сына. Они двумя семьями сядут за стол и по-человечески отпразднуют день рождения великой Страны Советов.

Хирург чувствовал, как немеют у него пальца ног, деревенеют обмороженные уши, но горя по этому поводу не испытывал: привык. Его беспокоил стоявший рядом доходяга Ильин. Он был из тех, кто в какой-то момент не выдерживают и сдаются. Тогда силы вытекают из них, как через пробоину. К тому же Ильина донимал жестокий радикулит, и Хирург понял, что у него сейчас могут отказать ноги. Ильин, напрягаясь изо всех сил, тихо постанывал и скрипел зубами. Ему и переминаясь с ноги на ногу нельзя было, так как любое перемещение отдавало болью в пояснице. Ильин, окончательно застыв в долготерпении, держался за жизнь одним лишь святым духом, который в последние месяцы, как видно, жалел бедолагу и выпорхнуть из него в пространство все сомневался. Хирург тоже сочувствовал горемычному Ильину и положил ему на больную спину свою заледневшую руку, чтобы послать по ней лечебное электричество – пусть Ильин согрется и досуществует до своей лежанки.

Но то ли рука у Хирурга была слишком холодной, то ли Ильин уже выработал свой жизненный запас, потому что в момент, когда Хозяин поравнялся с ним, Ильин вдруг рухнул в самые ноги начальника лагеря, заголив кончик торчавшей из валенка алюминиевой ложки.

Хозяин брезгливо вытащил из-под заключенного начищенный сапог и раздосадованно приказал: «Встать!»

Ильин немощно зашевелился, завозил локтями, пытаясь подняться на колени и оголил торчавшую из валенка алюминиевую ложку.

– Он болен, – сказал Хирург и посмотрел в пустые, запорошенные желтизной собственной болезни, глаза начальника лагеря. – Его срочно нужно в санчасть.

Ильин употребил последние усилия и мертво распластался на снегу.

– Убрать, – равнодушно и как бы даже разочарованно приказал начальник лагеря подчиненным, – в шестой барак.

Шестым баракom был неотопливаемый сарай, куда складывали до захоронения мертвых.

– Тут каждый лично решает: жить ему дальше или нет, – добавил Хозяин, глядя на Хирурга.

Вспомогательные службисты бодро, празднично кликнули конвойных, и те, ловко подхватив Ильина, быстро потащили его прочь.

Сутулый ворон вспорол тишину жестяным криком и слетел с ограды, стряхнув целое облако искрящейся морозной пыли.

– Вот так, – щурясь от солнца, задумчиво произнес начальник лагеря. Он спокойно наблюдал, как тащат конвоиры не нужное больше никому тело человека. – Каждый живет столько – сколько хочет.

Хирург ощутил противный озноб, какой всегда испытывал, когда не мог повлиять на жестокие явления жизни. Его снова, в который раз опалила жаркая горечь, что все не так совершается в мире. Не так! Кто дал право этому обрюзгшему майору с провисшими веками глаз судить и выносить приговор больному, но не безнадежному еще человеку? Кто позволил Хозяину быть хозяином чужой судьбы?

«Мразь. Подонок и мразь, – подумал Хирург и снова заглянул в лицо начальника лагеря. И вдруг поразился тому, что он все знает о нем. И не столько об извивах его прошлой жизни, карьере, прошитой суконными нитками предательств, жестокости и лжи (хотя все это тоже мгновенно промелькнуло перед Хирургом), сколько о его физическом состоянии. Хирург, потрясенный, увидел каким-то новым, необычным зрением, что Хозяин болен страшной и уже неизлечимой в данных условиях болезнью почки пиелонефритом. В глазах начальника он прочел, что жить ему осталось считанные дни. Хирург невольно стал опускать взгляд вниз, вдоль тела Хозяина, и оно разошлось, как под скальпелем, обнажив поросшие жиром ткани и отворив большую почку с двумя крупными, неправильной формы зеленовато-опаловыми камнями, один из которых прочно закрыл мочеточник.

– Вот так, – повторил разрезанный Хирургом начальник лагеря. – Каждый живет, сколько хочет.

Заключенные понуро молчали, удрученные происшедшим с Ильиным, напомнившим, что жизнь тут не стоит ломаного гроша.

И тогда Хирург произнес чьим-то чужим, неведомым голосом:

– Тебе самому осталось ровно три дня.

Раздвоенный Хозяин медленно склеился и вонзил в Хирурга ржавые от болезни глаза.

– Это что, бунт? – процедил он.

Снова дико заорал ворон и взмахнул крыльями на крыше одного из баракoв.

– Во-о, – показал жестом Хирург, привыкший к немногословному и натуральному обращению и постучал кривым кулаком по своей стриженной голове. – Кровью мочился? – спросил он склеенного начальника и, видя по выражению ошарашенных глаз, что угадал, окончательно заключил: – Три дня осталось. А может, и того меньше: водка свое сделает.

– В изолятор! – заревел начальник лагеря. – На полную катушку!

Конвойный оторвал Хирурга от строя, как кору от дерева, потащил в одиночку, и Хирург, перебирая занемевшими ногами, волочился за ним, что тряпичная кукла.

Хозяин смотрел на второго за сегодняшний день отверженного и ощущал, как противный, панический страх наполнял его, будто едкий дым. Действительно, ночью он испугался того, что пошла черная моча. Были так же и схватки, от которых хотелось залезть куда-нибудь по стене сквозь потолок, но утром все кончилось, и он блаженно заснул. А уж когда принял ради праздника стакан вкусной брусничной водки, и вовсе забыл о мучительной боли, благо, не знал никогда никаких болячек. Стало быть, съел чего-нибудь, вот и болело. Но кровь! Откуда этот лепило (врач) знал о крови?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.